

Андрей Иконников-Галицкий

ТРИ АЛЕКСАНДРА И АЛЕКСАНДРА

ПОРТРЕТЫ НА ФОНЕ РЕВОЛЮЦИИ

Александр Грин

Александр Амфитеатров

Александр Блок

Александра Коллонтай



ЛИМБУС ПРЕСС
Санкт-Петербург

Вступление

МЕЖДУ СОЛНЦЕМ И БУРЕЙ

Петроград, февраль-март 1917 года

I

Над убелённым Петроградом ликует ясное предвесеннее солнце.

Мы проплываем на невидимом дирижабле чуть пониже нижних облаков и наблюдаем странную картину. Белый лёд Невы, отражающий по краям солнечные насколки, испещрён чёрными точками, одиночными, сконцентрированными в пятна, вытянутыми в цепочки. Точки движутся, как муравьи на берёзе. Это люди. Их тысячи, десятки тысяч. Они перемещаются, текут с севера на юг, с тёмного, закопчённого правого берега на чистый левый.

Увеличим разрешение.

Вот берег возле Литейного моста, спуск к Неве. На набережной, на подступах к мосту – толпа. Наш объектив выхватывает из толпы то одну фигуру, то другую. Невысокий коренастый мужчина в чёрном драповом пальто с барашковым воротником; другой, в полушубке, шапке и с усами; вот ещё один, тоже в драпе, размахивающий руками в тёплых вязаных рукавицах. Вот женская фигура в длинном, почти до земли, салопе, в клетчатом шерстяном платке, укрывающем голову и плечи; платок, впрочем, съехал набок, из-под него выбиваются русые волосы. Все эти люди очевидно возбуждены – то ли весело, то

ли грозно. В их лицах – странная решимость. Вон другие фигуры в пальто, тулупах, салопах, полушубках спускаются на лёд Невы и по основательно протоптаным коричневым дорожкам идут, чуть пригибаясь, с Выборгской стороны к тому берегу.

На мосту и кое-где на льду Невы людские ручейки и потоки наталкиваются на препятствия в виде цепочек фигур в серовато-зелёном и синем: это солдаты, полиция. Но стремление возбуждённых людей от окраин к центру так сильно, так непреодолимо, что остановить их не может никакая преграда. Люди обходят военно-полицейские заслоны, протаптывают новые дорожки на крепком льду, достигают левого берега, вливаются в кровеносную систему улиц. Здесь в чёрной людской массе всё чаще замечаются красные полотна импровизированных флагов и транспарантов.

Город охвачен судорожным движением. Его сосуды-улицы всё тяжелее наливаются чёрно-красной кровью. Возле больших перекрёстков и поперёк площадей ещё держатся серо-зелено-синие цепочки, и вокруг них наподобие тромбов густеют, концентрируются людские толпы. Вот-вот прорвёт; вот-вот лопнет всеобщее сердце.

Трамваи уже не ходят – вагоны замерли там, где их захлестнуло. Вон стоит один на Литейном, с выбитыми стёклами. Растерянно топчется по усыпанному стеклом снегу вагоновожатый. Кондуктор тупо смотрит в незакрытую ведомость, где вверху справа каллиграфически выведена дата:

«Воскресенье, 26 февраля 1917 года».

До всеобщего восстания в Петрограде осталось двадцать часов; до отречения государя императора – четверо с половиной суток.

Треск винтовочных выстрелов доносится вдруг до нас, перекрывая людской гул. На лицах этих чёрных мужчин

и женщин, в их глазах каждый звук стрелкового раската рождает новый отблеск: страх и ненависть. Всё страшнее и всё ненавистнее становятся эти серые, карие, голубые, зелёные, чёрные глаза.

Мы испугались; мы улетаем на нашем волшебном аэро-стате подальше от центра имперской столицы, куда-ни-будь на север.

Но успокоения не находим.

Где-то вблизи Парголова по шоссе в сторону Петрограда движутся человеческие фигурки – по одиночке и группами.

Вот размашистым шагом идёт один человек. Приближимся к нему. В чёрном потёртом драповом пальто и в круглой шапке серого каракуля, он роста выше среднего, ширококостный, длиннолицый, темноусый. Движения его размеренны и упорны, как у человека очень усталого, но привычного к изнурительной ходьбе. Лет ему на вид под сорок. Сосредоточенный взгляд, угрюмство в складках крупно слепленной физиономии. Чем-то нам знакомо это лицо. Давайте состарим его лет на десять, добавим всезнающей печали в глаза, покроем черноморским загаром кожу, обрамим светлой летней одеждой...

Узнали? Конечно: «Алые паруса», «Бегущая по волнам»...

Это Александр Грин, писатель, по документам – Александр Степанович Гриневский, шагает по парголовской дороге в сторону Петрограда.

II

Александр Грин, из очерка «Пешком на революцию»: «...От Шувалова до Петрограда Выборгское шоссе представляло собой сплошную толпу. <...> От Озерков

я шёл один. По дороге я видел: сожжение бумаг Ланского участка, – огромный, весёлый костер, окружённый вооружёнными студентами, рабочими и солдатами; обстрел нескольких домов с засевшими в них городовыми и мотоциклетчиками, шёл сам, в трёх местах, под пулями, но от усталости почти не замечал этого. Утро это, светлое, игривое солнцем, сохранило мне общий свой тон – возбуждённый, опасный, как бы пьяный, словно на некоем огромном пожаре. Железнодорожные мосты, с прячущейся под ними толпой, осторожные пробеги под выстрелами пешеходов, прижимающихся к заборам; красноречиво резкие перекаты выстрелов, солдаты, подкрадывающиеся к осаждённым домам; иногда – что-то вдали, – в пыли, в светлой перспективе шоссе, – не то свалка, не то расстрел полицейского...»

Когда именно Грин пришёл во взвихренный революционными ветрами Петроград, мы не знаем. В своём очерке он не называет дат. Высланный из столицы за вольнодумные высказывания, он с ноября месяца жил на станции Лоунатйоки, что в семидесяти верстах от берегов Невы. Оттуда, взволнованный слогшибательными слухами, отправился пешком к Петрограду, когда поезда уже не ходили. Перестали же они ходить, насколько нам известно, 28 февраля: в сей день телеграф распространил приказ комиссара Временного комитета Государственной думы Бубликова о приостановке железнодорожного движения вокруг Петрограда. Если Грин начал свой путь во вторник, 28 февраля, то в городе оказался в четверг, 2 марта. Этому соответствует и описание виденного. Уже свершилось всеобщее восстание, уже созрел в телеграфном пространстве меж Петроградом и Псковом незримый и вожделенный плод: текст манифеста об отречении Николая. Сумбурные перестрелки отгремели

в центре столицы, и там на улицах и площадях уже царило неизъяснимое краснофлаговое весеннее ликование. По окраинам же всюду плясали кровожадные языки революционного пламени; пестросоставные толпы, в которых гражданские смешались с солдатами и с уголовной шпаной, ещё громили полицейские участки и добывали городских.

В последующие дни по прокуренным углам редакционных комнат больших и маленьких петроградских изданий беспокойно сновали мартовские солнечные зайчики; со всей возможной быстротой скрипели перья, стучали клавиши ремингтонов и ундервудов. Репортёры, фельетонисты, редакторы, прозаики и поэты, стоя за конторками или расхаживая в папиросном дыму по скрипучим половицам, сочиняли, карябали, диктовали пишмашинным барышням стихи, очерки, статьи, патетические дифирамбы и ехидные юморески – всё на одну актуальную тему, всё о революции. Клеймили проклятое недавнее прошлое, умилялись светлому будущему, бранили Николашку, издавались над мёртвым Распутиным и живой Александрой-немкой... Спешили, как будто предчувствовали, что пир свободы продлится недолго, что им уже накрывают другой стол, полный горьких блюд... Предчувствовали, но не верили.

Грин, может быть, меньше других поддался этой припадочной эйфории. Но в журнальную круговерть бросился с энергией одинокого тридцатилетнего человека, только что вытасченного событиями из пучины тоскливой ссылки. Стихи и проза потекли рекой в издания с привкусом бульварщины: «Двадцатый век», «Синий журнал», «Петроградский листок»... Самый солидный из журналов, с которыми знался Грин – «Новый Сатирикон», руководимый и направляемый жизнелюбивым Аркадием Аверченко.

Неизвестно, когда Грин заглянул в редакцию «Сатирикона» в первый раз после своего возвращения из кратковременного небытия. Вероятно, скоро: в марте. Допустим, что это случилось числа, например, семнадцатого-восемнадцатого, в пятницу или в субботу.

Шла пятая седмица Великого поста – о пустынножителе Иоанне Лествичнике и о Марии Египетской пели в храмах, однако сие никак не отзывалось на улицах весеннего, непомерно суетного Петрограда. Творились великие дела. Отрекшийся император был арестован и содержался с семьёй в Царском Селе. Во время дозволенных прогулок на него можно было посмотреть через решётку ограды: вот он, диковинный зверь, аспид и василиск, левиафан, китоврас, единорог – маленький, аккуратный, в шинельке, чёрные круги под глазами. В Петропавловку, в тюремные камеры, пустовавшие до революции, свезли министров, сановников и прочих властных знаменитостей старого мира; над ними должен был совершиться грозный и справедливый суд. Декретами Временного правительства была упразднена полиция, а через несколько дней, в дополнение к амнистии политической (от 3 марта), последовала воля для уголовных: тех, кто отбыл половину срока и более, отпустили на свободу. (Вскоре отпустят и всех остальных). Петроград не знал покоя ни днём, ни ночью. Митинги, шествия, красные флаги, банты на пальто, шинелях и куртках (тоже красные), стрельба в воздух и подсолнуховая шелуха на мостовых (городовых нет, можно плевать на мостовые – воля ведь!).

По этой шелухе, покрывшей шуршащим слоем торцы и булыжник Невского проспекта, Грин притопал своей размашистой, твёрдой походкой к дому 88: там, по соседству с синематографом «Унион», с предвоенного времени удобно и вальяжно, по-аверченковски, расположилась редакция «Нового Сатирикона».

Л. Лесная (Лидия Шперлинг), секретарь редакции «Нового Сатирикона», из воспоминаний об Александре Грине (1917 год, март, точная дата не указана):

«В открытую форточку врываются тенора разносчиков:

– Огурчики зелёные! Огур-чи-ки...

Застучали лошадиные подковы о торцы мостовой, а в «Вене» пили «Майтранк», то есть в зеленоватых бокалах белое вино, на поверхности которого плавали листочки петрушки. Короче говоря, началась весна. <...>

Звонок. Открываю дверь. Грин.

– Я увидел свет в окне. Зашёл узнать, по какой причине.

– Собираюсь уходить. Работы много. Авторы волнуются.

– Да, авторы. Такой мы народ, нетерпеливый. А меня, знаете, моя хозяйка-ведьма не впускает в квартиру. Я задолжал за месяц.

– Посидите. Покурим.

Он сел. Закурили».

Интересно, когда это Грин успел задолжать за месяц, если явился в город две, много – три недели назад? Лукавил, должно быть, рассчитывая на аванс. Впрочем, не Лидии было решать вопросы денежных выплат. Дверь растворилась по мановению властной руки, и в редакцию вошёл Аверченко. Большой, розовощёкий, полногубый, весело сверкающий золотыми дужками пенсне.

– А, вон это кто! Бродяга романтик «в остром обществе дамском»! Здравствуйте, Лидочка, вы прекрасны сегодня даже больше, чем всегда. Здравствуйте, здравствуйте, Александр Степаныч. Иду мимо, вижу – свет в окнах. Дай, думаю, посмотрю, кого это занесло в такой час в родные пределы.

– Ах, Аркадий Тимофеевич, вот Александр Степаныч опять мрачно курят и даже не ухаживают как следует за барышнями.

– Что так, любезный Дон Кихот Синежурнальческий? Кругом революция, веселье, а вы?

– Ах, Аркадий Тимофеевич, да Александр Степаныч опять жалуются на безденежье, хозяйка, мол, с квартиры сгоняет...

Разговор продолжался некоторое время в таком же шутовском тоне. Говорили больше Аверченко и Лидия; Грин лишь изредка вставлял слово и усмехался в усы.

– Господин заядлый пессимист, – произнёс наконец жизнерадостный Аверченко, – денег я вам сегодня не дам, но не плачьте: аванс будет через недельку. А теперь бросьте вашу черную мерехлюндию, идём обедать к Альберту.

Вышли на освещённый Невский, пешком направились в сторону Адмиралтейства. Главная магистраль российской столицы ещё мало была тронута революционными красками. Облик домов, лавок, ресторанов, витрин совсем не изменился, ежели не считать красных полотнищ на фонарях и в окнах первых этажей. Совершенно исчезли городовые, дежурившие раньше на каждом углу. Навстречу необычайно много попадалось новой публики: солдат в растёгнутых шинелях; молодых рабочих в картузах и русских рубахах, надеваемых под пиджаки; а главное – девиц странного вида и поведения, шумных, растрёпанных, громко хохочущих. Вся эта публика лузгала семечки и с остервенением сплёвывала шелуху на тротуар.

Неторопливо дошли до набережной Мойки, над которой на втором этаже старинного углового дома светил электричеством ресторан Альберта. Перед тем как войти, Аверченко остановился, повернулся к Грину и с загадочной нотой в голосе произнёс:

– Признавайтесь, уважаемый, ведь вы хотите выпить?

– Несомненно, дорогой патрон. Но ведь запрещено, хоть и революция.

– Ничего. Будем чай пить. Я угощаю.

Произнеся эту фразу, Аверченко толкнул дверь. Швейцар кинулся навстречу. Сбросив ему на руки свои пальто, литераторы прошли и уселись за столик в глубине не-большого зала. Подбежал официант.

– Низжайше кланяемся, Аркадий Тимофеевич, счастливы видеть, давненько у нас не бывали. Чего прикажете? Как обычно, или...

– Дай-ка нам, братец, чайку, такого, как я люблю...

– Уж это как водится!

– И севрюжинки с хреном. Ну и там что надо, понимаешь...

– Как же, Аркадий Тимофеевич, понимаем, сию минуту.

Моментально принесены были два белых фарфоровых чайника. Аверченко улыбнулся, налил в чашки.

– Пейте, друг мой, залпом, чай холодный.

Выпили одновременно. Грин крикнул и усмехнулся:

– Английская горькая?

– Она самая. Из того чайничка запейте: там портвейн, и, должно быть, недурной.

(...Любопытно. В этом же доме, как раз под залом, в котором сидели, попивая крепкий «чай», наши герои, помещалась когда-то кондитерская Вольфа и Беранже; 27 января 1837 года Пушкин встретился там со своим секундантом Данзасом и вместе с ним отправился на Чёрную речку, к месту смертельной дуэли. Что касается Грина, то в перерывах между чашками он наверняка поглядывал в окно и мог видеть напротив, за оживлённым пространством Невского, известный всем петербуржцам дом Елисеевых. Но не мог знать, что где-то в недрах этого дома, переименованного новой властью в Дом искусств, в узкой тёмной комнатёнке он в недалёком грядущем будет перемогать голодные годы Гражданской войны,

и там напишет «Алые паруса», и там, спасаясь от тифозной смерти, обретёт животворное счастье...)

Когда через два часа литераторы выходили из ресторана, Аверченко пребывал в великолепном, добродушном настроении; щёки его были розовее обычного, глаза блестели за стёклами пенсне. Возможно, по причине усилившейся близорукости он не разглядел господина, шедшего поспешно и тяжело по противоположной стороне Невского. Грин же не обратил на этого господина внимание, потому что был уже характерным образом беспокоен и мрачно-рассеян, что случилось с ним на переходе от умеренной стадии пьянства к чрезвычайной. Литераторы распрощались; Аверченко кликнул извозчика, а Грин запахнул чёрное пальто и двинулся решительно во мрак мартовской ночи.

III

Господин, которого не заметили приятели-сатириков, был крупен, полноват, одет хорошо, но несколько небрежно. Лет ему было изрядно за пятьдесят. Его круглое полнощёкое лицо было отягчено большой седоватой растрёпанной бородой. Лицо это было знакомо Грину по фотографиям; вживую он крупного господина никогда не видел, хотя их литературные подписи появлялись на полосах одних и тех же изданий: «Огонька», «Нивы», «Петроградского листка».

Господин, постукивая тростью, подошёл к трамвайной остановке, дождался вагона, важно поднялся на площадку, вручил кондуктору гривенник и отправился по рельсовому пути на Петроградскую сторону. У речки Карповки вышел, прогулялся по туманно-освещённой набережной до ворот нового шестиэтажного дома с про-

сторным курдонёром, был впущен степенным дворником внутрь, вступил в тёмный подъезд, поднялся по лестнице и скрылся за дубовой дверью, на коей в неверном ночном освещении блеснула медная дощечка с надписью: «А. В. Амфитеатров».

Плодовитейший литератор, автор острых политических очерков, творец многотомных романов с продолжением, любимец коммерческих издательств, Александр Валентинович Амфитеатров мог себе позволить жить со своей немаленькой семьёй в просторной квартире кооперативного дома для богатых. Не прошло полугода, как он вернулся из-за границы, ибо до этого более десяти лет проживал в Италии, в прекрасных уголках Лигурийского побережья: в Кави ди Лаванья, в Феццано, в Леванто. Мировая война, русский патриотизм и политические расчёты сподвигли его вернуться под сень крыльев российского орла; на счастье или на беду – об этом он узнает через год-другой. С имперским орлом, однако, он успел посориться сразу же по приезде и за публикацию фельетона-криптограммы с зашифрованными, но всем понятными выпадами против правительства был выслан из столицы в отдалённые места Сибири.

Александр Амфитеатров, из очерка «Империя большевиков»:

«В самый канун Февральской революции 1917 года последний царский премьер-министр, пресловутый Протопопов, отправил меня в Ачинск за газетную полемику против его безумной внутренней и бесчестно германфильской внешней политики. Слишком поздно: я успел доехать лишь до Ярославля и там вступить в борьбу с губернатором, отбарахтываясь от дальнейшего следования, как грянувшая революция уже возвратила меня в Петроград».

Об отречении императора стало известно в Ярославле 3 марта; выехать оттуда вчерашнему ссыльному стало возможно не раньше 4–5 марта, когда распространено было сообщение о политической амнистии и губернаторы заменены комиссарами Временного правительства. Итак, Амфитеатров вернулся в Петроград на несколько дней позже Грина, вероятно, числа шестого. Стрельба на улицах улеглась, и кровь на мостовых высохла; это была первая кровь великого кровавого потопа, но об этом ещё никто не догадывался.

Как и все слетавшиеся в Петроград изгнанники, как и все обитатели Петрограда вообще, Амфитеатров был захвачен революционно-деятельной лихорадкой. Он мотался по редакциям, беседовал, выступал, спорил, писал... Он был нарасхват, он возвращался домой поздно, и только крепкая, потомственно поповская его природа давала возможность выдерживать эту гонку. Не молод уже: пятьдесят шестой год.

Когда Александр Валентинович вернулся домой после неслучившейся встречи с Грином, его домочадцы уже почивали. Пройдя мимо спальни, он прислушался к тихому похрапыванию жены и с бесшумностью, удивительной при его грузной комплекции, на цыпочках проследовал в кабинет. Там он снял пиджак, аккуратно повесил его на спинку стула, сел в покойное кожаное кресло у курительного столика, достал из коробки папиросу, закурил. Все вышеперечисленные действия свидетельствуют о намерении отдохнуть после трудного и беспокойного дня.

Внезапно Амфитеатров встал, положил папиросу в латунную пепельницу, украшенную фигуркой сидящей лопухой собачки, прошёлся по кабинету с думой на лице. Его обеспокоило пустяковое воспоминание. Сегодня, ближе к вечеру, проезжая на извозчике по За-

городному проспекту, он увидел в толпе, вытекающей из широких врат Царскосельского вокзала, человека в военной форме, кажется, унтер-офицера (издали знаков различия не разглядеть, а шинель как у старшего унтера). Унтеров в Петрограде было пруд пруди, десятки тысяч – гарнизонные, отпускные, командированные, выздоравливающие, – и все они были друг на друга неуловимо похожи: молодцеватые, глазастые, скуластые, с усами наизготовку и в фуражках набекрень. А этот – совершенно иной, и всё в нём иное. Военная форма шла ему, но сидела как-то необычно, как доспехи на рыцаре. Особенное благородство черт, неуместное в революционной столице, выделяло его рослую фигуру из пёстрой военно-гражданской толпы. Не холёно-бесцветное благообразие имперской аристократии, а какое-то иное благородство, возвышенное и в то же время грубоватое. Кто он? Явно не из солдат, и вообще человек не военный: выражение лица совершенно гражданское. Лицо, да, лицо – эти крупные, правильные аполлонические черты... Лицо, безусловно, знакомое.

Вот бывает же: увидишь знакомую физиономию в толпе и потом несколько дней мучаешься, не можешь вспомнить, кто это такой и откуда ты его знаешь.

Александр Валентинович походил по кабинету, погладил бороду, снова закурил и снова положил папиросу в пепельницу. Облик, увиденный в толпе, не давал покоя. Но выудить из глубин памяти связанные с ним воспоминания никак не удавалось. Только что-то очень смутное: хмурое небо, паровозные свистки, топот солдатских сапог... И почему-то – хищная птица, раскинувшая крылья в небе...

Амфитеатров собрался идти спать. Открыл книжный шкаф, чтобы убрать оставленные утром на письменном столе книги. Откуда-то сверху вдруг выпорхнул газетный

листок: «Русское слово» за прошлый год. Перед глазами промелькнул заголовок крупным шрифтом: «Коршун», и стихотворные строки: «Чертя за кругом плавный круг...» Тут же в памяти всплыло и другое: «Петроградское небо мутилось дождём, на войну уходил эшелон...»

Александр Блок! Ну конечно, его лицо видел Амфитеатров в вокзальной толпе. Они никогда до этого не встречались, но фотографии Блока попадались Амфитеатрову у знакомых и, кажется, где-то в печати.

Неужели Блок? Или кто-то, несказанно похожий на него, похожий не только внешне, но и внутренне?

Но ведь Блок в армии, полгода как на фронте. Неужто он тоже приехал сюда, в эпицентр мирового землетрясения, дышать воздухом революции?

IV

Да, это действительно был Блок – репортёрский глаз Амфитеатрова профессионально зорко выхватил его образ из толпы. Вскоре после отречения государя Блок, как и многие другие полштатские военные, получил отпуск. Отбыв позавчера поздним вечером из воинской части, дислоцированной близ местечка Парохонск в Пинских болотах, через Лунинец, Мозырь, Могилёв, Витебск, Невель, Дно прибыл на Царскосельский вокзал Петрограда.

Выйдя из вагона под сень чугунных кружев нового Царскосельского вокзала, Александр Блок постоял минуту, с интересом огляделся вокруг, застегнул верхнюю пуговицу двубортной шинели, подхватил небольшой свой чемоданчик и двинулся к выходу. Оказавшись на площади перед вокзалом, он вновь остановился.

Открывшееся перед ним поразило его. Это был тот же город, в котором он прожил все тридцать шесть лет

своей жизни, и это был совершенно другой город. В той же плоти другая душа. Следа не осталось от прежней петербургской чопорности, холодной стройности. Всё крутилось, вертелось, двигалось, говорило, кричало, звенело в десять, в сто раз беспокойнее, чем раньше. Всё как будто сдвинулось со своих мест и перемешалось. Сразу же бросилось в глаза множество солдатских шинелей и вообще обилие всякой публики, о существовании которой раньше можно было не знать, живя в Петербурге годы. Те людские слои, которые в пространстве прежнего Петербурга перетекали не смешиваясь, как масло и вода, теперь представляли взору во взбудораженном муравейном единстве. Особенно это было заметно, если глядеть по низу и по верху толпы. Сбитые башмаки и рваные галоши трепались по непривычно грязной мостовой вперемешку со щегольскими ботинками и белоснежными гамашами; изящные дамские сапожки испуганно шарахались от стоптанных смазных сапог. Над ними кружили фуражки с кокардами и без, мятые картузы, приличные котелки, бобровые шапки, мохнатые треухи, солдатские папахи, модные шляпки с лентами и перьями, чёрные или клетчатые шерстяные платки. Люди, находившиеся между этим верхом и этим низом, разговаривали громче, чем прежде; их жесты и мимика были оживлённее, походка развинченнее; в глазах нередко (ох, нередко!) вспыхивал тёмный беспокойных блеск.

Впитывая в сознание сие никогда им не виданное зрелище, Блок направился к остановке трамвая. Он ехал – по Загородному, по Первой Роте, по Вознесенскому, по Садовой до Покровской площади – и всматривался, и вслушивался в то, что кипело вокруг него. Увиденное и услышанное рождало в душе нечто странное – смесь радости и страха, полёта и бездны. И какую-то даже растерянность. Как будто вдруг забыл – кто я, как меня зовут.

Осознавал время от времени, что дома его ждут мама и Люба, привычный кабинет, бутылка красного вина и чистая, горячая ванна. Но это не приносило успокоения.

Александр Блок, из записной книжки 1917 года:

«Начало жизни?

Выезд из дружины в ночь на 17 марта. Встреча с Любой в революционном Петербурге. <...>

Я – “одичал”: физически (обманчиво) крепок, нравственно распатан (нейрастения – д-р Каннабих). Мне надо заниматься своим делом, надо быть внутренне свободным, иметь время и средства для того, чтобы быть художником».

«Я не имею ясного взгляда на происходящее, тогда как волею судьбы я поставлен свидетелем великой эпохи. Волею судьбы (не своей слабой силой) я художник, т. е. свидетель. Нужен ли художник демократии?»

«Все будет хорошо, Россия будет великой. Но как долго ждать и как трудно дожидаться».

На следующий день, едва позавтракав, Блок нетерпеливо отправился гулять в город. Дошёл до Невы, до Английской набережной, ещё не утратившей великокняжеского лоска. (Кто бы знал, что тут вот через восемь месяцев взгромоздится серо-чёрная тень крейсера «Аврора», отсюда прогремят те самые выстрелы по Зимнему). У Благовещенского моста сел на трамвай и поехал на Петербургскую сторону, непривычно именуемую Петроградской, – в места своей юности. По дороге видел вспыхивающие в разных местах очаги стихийных митингов: людские фигурки слипались вокруг ораторов в плотные конгломераты, как опилки вокруг магнита. В вагоне пассажиры разговаривали тоже на митинговых, повышенных тонах.

Вышел на Каменноостровском проспекте, прошёлся по Карповке, мимо того самого дома, где вчера Амфитеатров курил в кабинете и мучительно вспоминал его, Блока, образ. Оплавленный и грязноватый весенний снег лежал по краям тротуаров и на крышах домов. Любуясь графикой голых деревьев, толпящихся за оградой Ботанического сада, Блок проследовал к Гренадерским казармам. Постоял, посмотрел на мощнее здание с колоннами, в котором прожил семнадцать лет, от возраста гимназиста-приготовишки до обретения литературной славы. Потом почему-то решил отправиться на Выборгскую сторону. По Гренадерскому мосту перешёл Большую Невку и, миновав Сампсониевский проспект, вскоре оказался на Лесном. Не ведая того, Блок шагал теперь по тем самым камням, по которым семнадцать дней назад шёл Грин, напрягая последние силы, – в сторону Финляндского вокзала.

Чем ближе к вокзалу, тем оживлённее становился проспект и примыкающие к нему улицы. Движущаяся людская среда густела, в ней преобладали тёмно-серые, чёрные, коричневые рабочие тона. Здесь мало было бровых шапок, всё больше картузы и фуражки; совсем не виделось шляпок с перьями, но много попадалось простых шляп, иногда с вуалями, и платков. Прогрохотали один за другим три грузовика, их кузова были битком набиты фигурами в серо-зелёных шинелях и щетинились штыками, как ежи. Ясно было, что эти массы целенаправленно текут к вокзалу. Стали попадаться транспаранты – на красном кумаче наскоро намалёваны буквы: «Слава борцамъ за народное дѣло!», «Да здравствуетъ республика!», «Въ борьбѣ обрѣтѣшь ты право своё!» На углу Финского переулка уже заварился какой-то импровизированный митинг. Голоса звучали резко и невнятно.

Александр Блок, из записной книжки 1917 года:

«Толпы народа на углах, повышение голоса, двое в середине насакаивают друг на друга, кругом поплёвывают и посмеиваются. Это – большевики агитируют.

Идёт по улице большой серый грузовик, на нём стоят суровые матросы и рабочие под красным знаменем “Р.С.Д.П.” (золотом). Или – такой же разукрашенный, на нём солдаты, матросы, офицеры, женщины, одушевлённые, красивые».

Вслед за грузовиками Блок свернул в Финский переулочек и через несколько минут был уже в толпе у Финляндского вокзала. Тут явно ожидали чего-то. Матросы, интеллигенты, рабочие, студенты, барышни стояли кучками и поодиночке, переминались с ноги на ногу, разговаривали, курили. Некоторые были с цветами. Солдаты и работницы лужали семечки. Внезапно по толпе прошло шевеление; люди придвинулись к выходу из здания вокзала – как прихожане к амвону перед началом проповеди.

Тяжёлые двери открылись, из них стали выходить пассажиры; многие останавливались, глядя на сгустившуюся толпу, и, удивлённо озираясь, следовали дальше. Но вот показалась плотная группа прилично одетых господ (чёрные пальто, каракулевые шапки) и среди них две-три дамы. Из толпы раздались звонкие крики студентов и барышень: «Слава героям!», «Ура!», «Да здравствует свобода!» К вокзальному порогу полетели цветы.

Пугая работниц клаксоном, к поребрику тротуара подкатил автомобиль. Солдаты быстро откинули вниз борта кузова. На образовавшуюся площадку залез какой-то человек в форменной кожаной тужурке автомобильного батальона с красным бантом на груди и красной повязкой на рукаве. В толпу ударили его хриплые выкрики:

– Граждане! Товарищи! Мы сегодня здесь... Проклятый царский режим... Страдальцы за нашу свободу... Наши товарищи, прибывшие...

Он так сильно выкрикивал начала фраз, что концы их совершенно пропадали в рокочущем хрипе. Но толпа, не понимая, улавливала смысл выкрикнутого и одобрительно шумела. Группа людей, вышедших из вокзала, продвинулась к автомобилю. Некоторые из них забрались на площадку, подсаживаемые солдатами. Вот солдаты подхватили на руки и подняли наверх даму средних лет, несколько полноватую, но моложавую. На фоне тёмно-серой толпы и грязно-снежной площади она выделялась, как пятно свежей краски на старом заборе. Светленькая шубка, муфточка, небольшая милая меховая шапочка, изпод которой выбиваются пышные стриженные волосы. Холёное личико, нежному овалу которого противоречит энергичный разлёт бровей. Рядом со сплёвывающими солдатами и хмурыми рабочими – нечто необъяснимое.

КОНЕЦ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОГО ФРАГМЕНТА